*R*L*

Памяти поэта
Александра Воловика

Рина Левинзон

Услышать солнце

Стихи

Екатеринбург
2009

УДК 8
ББК 84 (2Рос=Рус)6
Л 35

Левинзон, Рина
Л 35 Услышать солнце : стихи / Р. Левинзон. — Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2009. — 176 с.

ISBN 978-5-7741-0123-8

УДК 8
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-7741-0123-8

ПОЭЗИЯ ПО ИМЕНИ РИНА

Композитор Стравинский как-то заметил, что о музыке можно говорить лишь посредством музыки. Думаю, что и о поэзии — о ее поэтической сути и веществе, — да простят меня литературоведы, — аутентично можно высказываться только на языке поэзии. Не зря ведь и сами поэты мучимы фатальностью неадекватности, приблизительности всякого непоэтического высказывания о своем загадочном искусстве. Как, например, гениальный, суперпоэтичный Федерико Гарсиа Лорка, признававшийся: «…никто… не знает, что такое поэзия. Вот она. Гляди — огонь у меня в руках. Я понимаю, чувствую его, умею с ним работать, но не могу говорить о нем без "литературы"». Поэтому мое вступление к новому сборнику Рины Левинзон — всего лишь несколько ощущений, наблюдений, сбивчивых мыслей в заведомо беспомощной попытке хоть как-то передать чудесный, магический эффект воздействия Рининых стихов или, скорее даже, то свойственное им, чудодейственное, пьянящее послевкусие.

Собственно, о факте поэзии, событии поэзии мы и узнаем по этим самым «эффекту» и «послевкусию», погружающим нас в какое-то иное, необыденное существование, подчиняющим нас себе и тем самым открывающим, пробуждающим в нас новое видение — переживание вещей. В сущности, на какое-то время делающим нас другими. Тут будет уместно напомнить, что «поэзий» — с их особыми способами существовать и относиться к миру — на белом свете немало. И все — все! — по-своему хороши и (лично мне) духовно необходимы. Есть, например, мощная и жесткая, совершенно условно говоря, поэзия камней, поэзия трудных для восхождения на них горных кряжей. Есть головокружительная и столь же, как и поэзия камней, духоподъемная поэзия природных стихий,

большого космоса. Или поэзия глубоко, до самой сущности вещей, проникающей, объемлющей целый мир мысли и рефлексии. Или поэзия утонченной и чуткой всё сохраняющей культурной памяти, неостановимого диалога с ученостью и духовностью прошедших времен. Или поэзия парадокса, вызывающего отстранения — отталкивания от общепринятого и привычного, интеллектуальной игры с миром и людским опытом. Поэзия дерзкой и рискованной, но тем более захватывающей словесной акробатики, образной эквилибристики, необузданного формотворчества, захватывающая духом свободы и предчувствием новой, неслыханной реальности.

Но мы ведь, в большинстве своем, похожи на Одиссея: куда бы и как бы далеко ни заводили нас странствия по миру и жизни, душа наша не перестает помнить и тоскует по своей маленькой Итаке. Не перестает тянуться и стремиться к ней: соразмерному, знакомому до малейшей детали и черточки, исхоженному вдоль и поперек (читайте — освоенному телесно и душевно, практически и духовно), а потому родному — что бы в нем ни происходило — миру. Миру нашей, здесь и сейчас проживаемой, каждый миг превращающей себя в прошлое и граничащей с неизведанным будущим и с непостижимой вечностью жизни. Миру нашего повседневного опыта. Сколь неэкстраординарного, повторяющегося и, нередко, приедающегося в своей обыденности, столь же и душевного, милого сердцу, многими своими обстоятельствами и чертами вдохновляющего. А оттого и чреватого поэзией. Именно особой поэзией обычной жизни, «простого» и сходного у миллионов людей каждодневного опыта поступков, отношений, состояний природы (хотя бы смены времен года и дня), канунов и итогов, встреч и разлук, рождений и смертей. «Судьбы скрещенья». И одухотворяющего жизнь опыта душевных движений, созерцаний, переживаний, неумолкающей и будоражащей душу памяти. Опыта пульсирующего духовной энергией о-сознания своего мира и себя в нем. Как, скажем, у

Пастернака, помните? «Я просыпаюсь. Я объят/Открывшимся. Я на учете./Я на земле, где вы живете,/И ваши тополя кипят».

Пастернак и был поэтом э т о г о мира. Потому и мог сказать: «Поэзия навсегда останется той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли... Она навсегда останется функцией счастья человека, переполненного блаженным даром речи...» Рина Левинзон, несомненно, подписалась бы под этими словами, ведь и она — счастливый поэт э т о г о мира. Впрочем, она и сама, на своем поэтическом языке признается (в стихах, обращенных к сыну): «О счастье — лишь об этом речь...» Воистину счастье — общий знаменатель всех стихов Рины.

Источников этого счастья, подчас горчащего и заплаканного, несколько. Это и осознаваемое поэтом, но даруемое, убеждена Рина, каждому человеку — было бы желание да силы душевные — богатство жизненного опыта. Каждый раздел этой книги — его особый и по-своему бесценный пласт: любовь мужчины и женщины; общность и сердечная привязанность детей и родителей; отношения личной судьбы поэта и трагической судьбы ее народа; отношения с родными и возлюбленными поэтом языками и культурами: русской и еврейской («Зима моей российской речи,/Весна иврита моего»); повседневные реалии (дом и город, Иерусалим, прежде всего); реалии природы и истории; наконец, неожиданные для земной поэзии Рины и абсолютно органичные для нее «метафизические» сферы — темы времени, смерти, возможности бессмертия — посмертной жизни, отношений с Богом. И, конечно же, тема самой поэзии, счастья и муки поэтического творчества.

Поэзия и, шире, культура, точнее — культуры — не просто предметные сферы — возможности счастья. Для Рины Левинзон, как и для всякого настоящего поэта, они —

подлинные кладези счастья: источники витальных и творческих сил, дорогих смыслов и энергий, бесценные собеседники, реальные и мистические, земные и сакральные одновременно. Тут, пожалуй, рельефней всего проявляются такие родовые, всеобщие, и личные, глубоко сокровенные черты поэтического таланта Рины, ее художественного духа: органическое совмещение локального (бытового, частного, интимного) и глобального, живущего в большом культурном времени, вечного — и непосредственно осуществляющий это совмещение — синтез, могучий, покоряющий и трогающий до слез дар сопереживания. Когда речь идет об ушедших муже, маме и отце или о невинных жертвах Холокоста, Ринино сопереживание тоже, и безусловно, глубоко волнует и захватывает, но при этом оно понятно и кажется аналогичным опыту читателя (что на самом деле лишь иллюзия: наша обыденная память ленива и утилитарна, и только благодаря большим художникам, таким, как Рина Левинзон, она вспоминает то, что забыть грешно и стыдно). Когда же силой сопереживания у Рины оживают, начинают говорить и притягивать нас, вызывать наши интерес, восхищение или сострадание (как в стихотворении о Мандельштаме) и приобщают нас тем самым к уникальным культурным микрокосмам других, канувших эпох — образы, — тут в нас наяву входит и расширяет наш внутренний мир бесконечность другого — надличного мира высших ценностей, и уже особое, высокое и гордое, куда-то возносящее волнение наполняет нашу душу состоянием нового, ни с чем не сравнимого счастья. Таковы и стихи об Иерусалиме, где «Божье присутствие всюду, дыханье Его и печать», и «Читая псалмы Давида» — волнующий пример живого «вхождения» в великую культуру, поэтического воскрешения и переживания ее древности, волшебства, неповторимого аромата — и родства с ней.

И все же главный источник и «фактор» счастья — пленительной субстанции, наполняющей стихи Рины Ле-

винзон, — без сомнения, сама Рина, ее удивительное и, в который раз должен повторить, уникальное человеческое, оно же поэтическое существо и «вещество». Ей (если вспомнить приводившиеся выше слова Пастернака) даже не требуется «нагнуться» за лежащей в траве поэзией. Потому что это, наоборот, от Рины нисходит на траву, деревья, звезды, людей и весь мир поэтически преображающая их, наделяющая поэтическим жаром — трепетом — смыслом волшебная сила. Потому что Рина и есть, на наше счастье, живая, пульсирующая, звенящая своим завораживающим голосом, всякое мгновение своего существования источающая любовь к жизни и всему человеческому и всё возлюбленное наделяющая смыслом и музыкой, нежной органикой и вечной женственностью — ПОЭЗИЯ.

Не могу себе представить (мне кажется, его не существует) технического перехода от поэтического существования Рины, которое и есть ее повседневность, к ее внешне неизбежно застывшим, будто замер(з)шим и отчужденным текстам, мгновенно оживающим и источающим свои шарм и колдовство при малейшем сочувственном к ним прикосновении. Трудно себе представить, что Рина свои тексты сочиняет, что она их составляет из слов, которые ищет, подбирает, а иногда вычеркивает. Нет, она их, определенно, где-то в себе выращивает. Выращивает, как плод, целиком. Стихи растут в ней как живые, органические и полные самодвижения существа, а может, маленькие мыслящие планеты. И когда они созревают, то заполняют, а потом переполняют ее. И тогда Рина их выдыхает, выпевает, выплескивает в мир, давая им в сопровождение словесный паспорт, то есть текст. И они сразу начинают жить вполне самостоятельной жизнью, в то же время с очевидностью неся в себе все свойства существования и субъективности самой Рины, становясь ее прекрасными и милыми двойниками.

Как Рина, ее стихи в высшем смысле этого слова б е з ы с к у с н ы, то есть органичны, естественны, ми-

нимально риторичны, метафоричны, совсем не театральны. Их нематериальный стержень, основа и двигатель их легкого, непринужденного ритма — нежной укачивающей нас внутренней музыки — не абстрактный «поэтический размер», а наполненное волнением души (= воодушевленное «отношением») д ы х а н и е, следующее за эмоциональной идеей ритмичное чередование вдохов и выдохов. Столь же естественны и просты всем хорошо знакомые слова: Рину ничуть не смущает, что они миллионы раз звучали и входили в состав стихов до нее. Для Рины-то они звучат впервые и по-своему. В этом она похожа на чтимого ею Георгия Иванова, и о стихах Рины вполне можно сказать ее словами о поэзии Иванова: «Слова простейшие, повторы...» Такое стихотворное вещество органично и непринужденно принимает в себя и выражает главные Ринины «сущности»: непосредственность, идеалистическую чистоту, исповедальную откровенность, но и целомудренную, избегающую нескромных подробностей сдержанность ее чувств, ее эмоциональной памяти — главного источника и образов, и самих переживаний. И, пожалуй, главной соприродной Рине территории — ее диалога с жизнью.

В памяти обретает модус существования, настоящего времени и то, что «физически» прошло и исчезло, и то, чего «пока» нет, но что возможно и желанно, и то, что требует духовного освоения и соединения с личным «Я» поэта. Роль памяти в поэтическом сознании и мире Рины Левинзон объясняет, я думаю, и некоторые другие их особенности: психологические, экзистенциальные, миропредставленческие.

Так, многое в поэзии Рины (если не вся она) носит характер сновидения — о прошлом, будущем или вечном, неважно: «...Я знаю эти сны./В них есть всё, что с нами приключится...» Сон — язык ее мироощущения, способ создать и удержать свой, только ею созданный и без нее не существующий мир, продолжающий память или, напротив, спорящий с ней. Мир, где, например, нет смерти, вечно

длится любовное свидание («И прощанья никогда не будет — /Будет только встреча — навсегда»). И где можно избежать страшной, так никогда и не освоенной сознанием трагедии еврейского народа: «И, может быть, наш Бог меня услышит/И всех спасет, а не меня одну». В снах, поэтических видениях Рины вещи обретают новую степень свободы и, например, начинают летать — как на картинах Шагала: «Так мельница Монтефиоре/Легко над городом плывет». Летают они и в трагических снах, где видения — пленники памяти:

Земля моя — птица ночная —
Вспорхнет и исчезнет во мгле...
Над белым пространством Синая
К рассыпанной в небе золе.

Память — «пространство», до краев заполненное временем, ставшим в ней в любом случае настоящим. Рина потому и привязана к памяти, что более всего любит настоящее: живую, здесь и сейчас существующую жизнь. «Я выбираю мир живой». «А жизнь и есть тепло и торжество,/короткое паренье над веками». Или: «Есть только то, что нынче длится,/и только то, что есть сейчас». Это уже не просто привязанность, а, пожалуй, мировоззренческое убеждение. Поэтому у Рины качество «того, что есть сейчас» и получают все сколько-нибудь значимые реалии: люди и события прошлого или возможной, потусторонней — посмертной реальности, независимо от их изначального собственного масштаба получающие масштаб личностного, здесь и сейчас происходящего, ее, Рининого, и нашего опыта. Не поворачивается язык назвать это словом «миф» (хотя почему бы и нет, ведь всякая поэзия, искусство вообще мифологичны). Не поворачивается, вероятно, в силу отсутствия «надчеловеческой» всеобщности масштаба, как и надличностного качества этого опыта. Он как раз уникально, проникновенно личностен, пронизан не только «высоким», духовным теплом смысла (О. Э. Мандельштам называл такое тепло — тепло

культуры — телеологическим), но и непосредственным, сокровенным теплом нашего с Риной дыхания, сердцебиения, прикосновения, теплом наших ощущений. Это качество, кстати, определяет заразительность, суггестивность Рининых стихов, коммуникативную близость поэта и ее читателей. Что усиливается (так же, кстати, вполне немифологической) конкретностью социально-ролевого облика (образа) автора. Последний в поэзии Рины Левинзон не вещает с надмирных высот (как и не с «кафедры», со сцены или из какого-то ритуального пространства) от имени безликого и столь же надмирного лица: голоса «свыше» или пророка, учителя, идеального образца. Напротив, он не скрывает своих земных социальных обличий женщины, жены, возлюбленной, дочери, матери, лирического поэта и, наконец, просто слабого, смертного, но бесконечно влюбленного в жизнь человека: «И с жизнью не сладить — ах, только бы длилась...»

А сама влюбленность в жизнь у Рины Левинзон, как и, отсюда, ее образное видение, носят, я бы сказал, прелестный импрессионистский характер. О чем бы ни шла речь, в центре внимания — проживания поэта всегда оказываются цепко схваченные, словно укрупненные зрением, но остающиеся быть во временном потоке, преходящие мгновения — те, что были любимы и запечатлены импрессионистами: свет и воздух, их струенье и теченье, отблески — отсветы на предметах и капли (дождя, другой влаги или космического вещества) на них. Но в этих трепетных, почти эфемерных мгновениях Рина успевает увидеть и прочувствовать, как уже сказано, присутствие большого времени и вечности: «вечность в запасе... — целый день». И вполне логичная при такой гармонии противоположностей инверсия: «все времена — единый миг». Как видим, очень родное для русского поэтического сознания вообще единство взаимонаполняемых вечности и мгновения: вечность жива и волнующа как мгновение, а мгновение значительно, на-

полнено смыслами и неисчерпаемо как большое неизменное время вечности.

Даже только одной этой черты достаточно, чтобы понять: с виду «простая», безыскусная и негромкая, поэзия Рины Левинзон, на самом деле, по-настоящему значительна. Мы с удовольствием вдыхаем ее музыку и красоту, сопереживаем ее снам и воспоминаниям, впитываем ее теплую душевность, хрупкую женственность и нежную милоту — и вдруг сознаем, что благодаря им приобщились к ее глубине и тонкости, мудрости и стойкости, духовной цельности и силе. А в конце концов всё сходится в логике высшего замысла, дающего строение и оправдание всему сущему. Как и любви и вере поэта, его питаемой ими воле к жизни и творчеству:

И надо жить до самого конца
Всей силой духа и свободой зренья,
Чтобы сошлись —
единственность Творца
С единственностью
Божьего творенья.

А теперь от слов — к Поэзии. Читайте и наслаждайтесь!

Лев Закс

О СЕБЕ…

Я родилась под Москвой, в городе с таинственным и странным названием Электросталь. Только недавно узнала, что он находится в 180 километрах от Москвы. Мне не было еще двух лет, когда меня увезли в Свердловск. Голодное холодное детство в коммуналках. Начальная школа на улице Тургенева, где я получила похвальную грамоту, наверное, как компенсацию за то, что была самой маленькой и чувствовала себя некрасивой, и начала писать стихи. А потом средняя школа — училась я плохо, прогуливала уроки, глотала снег, чтобы можно было не ходить в школу и читать книги, и там провалила два экзамена на аттестат зрелости. Правда, почти сразу пересдала. Но в Университет — на факультет журналистики — я хотела только писать — единственное занятие, самое близкое к чтению, — меня не приняли, поставили, кажется, тройку — не двойку же! — на сочинении. А на будущий год я уже поступала в иняз, но не в Свердловске, а в Кирове — в Свердловске боялась. А потом стала преподавать английский, сначала в школе на Визе, а потом в Медучилище. Первые публикации — «Урал», «Уральский следопыт», «Юность», коллективный сборник и первая книга для детей «Прилетай, воробушек».

В Свердловске случились и первые страхи, и первые радости, и возникло необъяснимое желание уехать оттуда — то ли в Москву, я очень ее любила, то ли в Таллин, он был самым спокойным и уютным городком в мире, то ли в Париж, первые книги мои из нашего большого книжного шкафа — мама зимой стояла за ними в многочасовой ночной очереди — были Стендаль и Бальзак... и только потом пришло — неизвестно откуда и как, и дома не говорили, и слышать ничего не слышала, и книг никаких таких не было — но пришло сначала слово Израиль, а потом видение, даже в стихе, из первых, было — пески

далекие солнечные... Израиль был больше мечты и был равен жизни.

А жизнь моя продолжалась. Свердловск начал вершить свои чудеса для меня, как будто хотел сказать — подожди, я еще не все успел для тебя сделать... И он сделал. Он подарил мне Сашу. Саша Воловик, поэт Александр Воловик — моя единственная любовь, которая только усилилась после его смерти. Все мои стихи, все, что я знаю в поэзии, все, чем я стала и какой я стала, — все это выпестовал во мне Саша. В Свердловске родился наш сын Марк. В Свердловске вышли наши первые книги.

В Свердловске у меня появился первый редактор — Светлана Марченко, сама прекрасный поэт и близкий и дорогой друг. В Свердловске я узнала, что бывает доброта и дружба, которая не умирает, а только усиливается в минуты испытаний и опасности. Когда мы попросили вызов для того, чтобы уехать в Израиль, — только туда, следом за солнцем! — больше года мы были в тяжелом отказе. Моего отца уволили с работы — он был главным инженером завода Вторчермет. Наша просьба о репатриации наверняка стала опасностью для семьи моего брата, а мой папа, который очень любил свою работу и больше всего на свете любил нашего с Сашей сына, своего первого внука Марика, оставался и без того и без другого. Но ни слова упрека — полная поддержка! А не умерли от голода только благодаря моим родителям, — Сашины родители умерли, еще когда он был подростком. Нас, конечно, тоже уволили, и не очень понятно, что было бы с нами, если бы не наши друзья.

Эти дорогие моему сердцу имена — тех, кто помогал нам в страшное время отказа, голода и беспрерывной слежки. Моя школьная подруга Люся Соболева — она ночами переписывала мои стихи и давала нам возможность преподавать английский ее дочкам и сама, так трудно растившая их в одиночку, находила силы и возможности помочь нам. И Майя Никулина — один из самых удивительных поэтов на всем русском поэтическом пространстве! То, что сделала

она в то время для меня, иначе как гениальным предвидением не назовешь. Она принесла нам почитать — еще тогда, когда мы были в отказе и общения с нами боялись, и правильно боялись, в разгул гэбэшного произвола — принесла нам, без особого какого-то объяснения, как будто это было самое обычное действо, — принесла и оставила копию Набоковского «Дара». С тех пор Набоков — главный мой, любимый мой писатель. Но дело не только в этом. Если бы я тогда, в отказе, не прочла «Дар», — не знаю, выдержала бы я первые два года в Израиле. Теперь скажите мне, откуда Майя все это знала? И еще она пришла однажды — маленький серебряный подсвечник — в подарок мне, на прощанье — храню его бережно — и сказала странную на мой слух фразу: Рина, — сказала она, — ты уезжаешь, а я уехать не могу — иначе эту землю займут чужие люди. Я поняла, почувствовала сердцем, плотью эту фразу не тогда в Свердловске, а — тогда я не совсем поняла, о чем речь, — только потом в Израиле. Вот и это она тоже знала, нежная красавица Майя, чьим стихам я не знаю равных в современной русской поэзии, хотя, конечно, многих люблю. Гении — они гении во всем — в творчестве, в любви, в дружбе, и поэтический гений Майи совпадает с ее нравственной высотой и совершенно отчаянной храбростью. Ее вызывали, мы говорили «таскали», тогда в КГБ за Набоковский «Дар» и за нас, наверное — дом был под наблюдением, так же как детский садик, где его директор Галя Галочка взяла нас на работу — Сашу — ночным сторожем, а меня — учить детей английскому — и платила зарплату. Мы-то собирались уезжать, а они оставались, мои чудесные девочки. А еще раньше — дело врачей. Помните?

Когда это началось, в нашем доме стали говорить шепотом. До сих пор я помню перепуганное лицо тети Сони, она была фронтовым врачом, все прошла до конца, а тут страх, даже я маленькая почувствовала, увидела. Был он и у тети Миры, папиной сестры — она тоже фронтовой врач, и тоже всю войну, и тоже дрожащие глаза — я тогда впер-

вые увидела, как дрожат глаза от ужаса. Весь мой класс в эти дни объединился против меня — после уроков они все шли за мной улюлюкая — я была единственной еврейкой в классе. Но Люба Малинина, вот ведь запомнила фамилию, — мы не были подругами, но она встала рядом со мной, кажется, дала мне руку и шла со мной всю дорогу из школы ко мне домой — а путь был неблизкий.

Так Свердловск подарил мне упрямство, науку преодоления и веру в человека.

Нам продолжали говорить, что нас никогда не отпустят, но простят, если мы заберем заявление. Сашу для пущего страха тоже вызывали в ГБ, а двое наших друзей, Володя Маркман и Валерий Кукуй, отсидели в тюрьме три года и вышли оттуда больными людьми. Валерий умер молодым еще человеком, и Володино здоровье было разрушено. А чудесные Исаак и Дина Злотверы — они находились в длительном отказе и просто погибали от тоски по детям, которые к тому времени уже жили в Израиле. Но я не помню, чтобы мы с Сашей боялись. Была такая вера в то, что мы все делаем правильно. Время шло и не предвещало каких-либо изменений. И тогда Саша попросил встречи с Борисом Ельциным, о котором мы ничего не знали. Саша сказал ему, что они могут сделать нас героями, и тогда поднимется шум, а могут тихо отпустить нас. На следующий день мы получили разрешение и три дня на сборы. Я все раздавала. Мы взяли с собой только несколько ящиков книг и мой портрет работы Михаила Брусиловского. Но на таможне портрет не пропустили, так же как шестнадцать томов Еврейской энциклопедии. Портрет потом каким-то чудом привезла Сусанна Файн.

Мне казалось, что Израиль — это страна, где люди на улицах танцуют, и все прекрасны. Но нет — почти мгновенно стало понятно, что путь к нашей мечте долог и не прост. Но мы ни разу не оглянулись назад и ни о чем не пожалели. Эта дорога была для нас единственной, единственно желанной, правильной и потому единственно возможной...

В Иерусалиме для меня весь Израиль — Иерусалим и вся Россия — Екатеринбург — это удивительно, как они переплелись в моей судьбе. Бог надоумил меня не сравнивать, не сопоставлять, а просто Любить. Свердловск меня не отпускал, Израиль ко мне присматривался и постепенно-постепенно начинал привечать меня, отогревать от уральского холода, а я тосковала по утраченному и училась любить приобретенное. Не разделяла, не сравнивала — продолжала писать по-русски, в отличие от великих наших поэтов, которые тоже начинали писать по-русски, но полностью потом отдали свой талант Ивриту, — Авраама Шленского, Рахели, Леи Гольдберг, — но они переводили русскую поэзию на иврит, а я, наоборот, перевожу их на русский. Всего мы с Сашей перевели около тысячи ивритских стихов — никто не просил, никакие журналы или организации не заказывали, но как мне хочется, чтобы эти две поэзии встретились.

А Свердловск — Екатеринбург продолжает одаривать меня чудесами, и опять имена... Великие художники Виталий Волович и Михаил Брусиловский — они еще наделены и даром величайшей доброты и приятия. Их картины живут в моих книгах — какая радость, какое благо. И Николай Юрьевич Мухин — один из самых величайших знатоков русской поэзии, талантливейший и скромнейший человек, который подготовил к печати, выстроил бережно и преданно четыре моих книги, и эту пятую, и написал обо мне так, что его поэтическое эссе обо мне стало и останется навсегда моим талисманом — в моей жизни и в моей поэзии.

А Лев Абрамович Закс... ! — но здесь мне ничего не будет позволено сказать.

Суламифь

***

Еще немного, капельку, чуть-чуть
Продлись, моя неверная, живая,
Стучащая волшебной птицей в грудь
Судьба моя — дорога кольцевая.
Еще один отрезок небольшой
На том пути, неведомом, незримом,
Где плоть соединяется с душой,
Еще не став ни облаком, ни дымом.
Еще виток, последний поворот...
Пусть он продлится до любви и чуда.
И под конец — пусть все наоборот —
Не тьма, а свет придет —
Бог весть откуда.

СУЛАМИФЬ

Но ты позвал, и я отозвалась.
Струится серебро над черной почвой.
Любовь слепит и лепит нас из нас,
Отпаивая влагою молочной.
Но ты позвал, и я к тебе пришла.
Так из ручья спешат напиться кони.
Какая влага теплая текла,
Тебя пою и пью с твоей ладони.
О, эта тяжесть, этот сладкий груз —
Плодов созревших и волны ленивой.
Но ты пришел, и я к тебе тянусь,
И сонный ветер кружит над оливой.

***

Наклонись ко мне.
Вся ворожба,
что Господь сохранил для влюбленных,
нам досталась.
С холмов оголенных
еле слышно стекает межа.

Прикоснись ко мне — пальцы твои
так пронизаны солнечным током.
Разве Запад не связан с Востоком
скрытой ниточкой нашей любви?

Обними меня — сотни веков
пусть пройдут, ничего не меняя.
Все в одно повязала любовь.
Все скрепила причуда земная.

***

Это солнце так снижалось,
время длилось,
это жимолость и жалость,
Божья милость.
Это сердце колотилось —
так ли бьется
серебристое ведро
о дно колодца?
Это жаворонок, музыка-жалейка,
вороненок большеглазый,
грудь и шейка.
Цвет вороний, воздух жаркий,
рук дрожанье,
это милого встречанье-провожанье.
Это воздух еле видимый над нами.
Что мне с этими желаньями и снами,
что мне делать с ними,
милостивый Боже,
с этой жалостью и нежностью и дрожью...

***

Любовь моя — ныряльщица за жемчугом,
Что в этой глуби — радость или смерть?
Как мне легко желать, смеяться, сметь,
И больше ничего — быть только женщиной!
Не разрывать кольца,
Да и к тому ж,
Чем больше доброты, тем больше силы,
И кто мне ты?
Ребенок или муж?
Такая нежность, Господи, помилуй.

***

Как грело, как горело.
                                        Добела
как раскаляло.
                              До безумной глади.
Все двигалось в таком нездешнем ладе,
и все сады, в которых я была,
сошлись теперь в невиданном раскладе.
Как серебрилось, поднималось вверх,
подкатывало к горлу, отпускало.
До белого, до сладкого накала,
которому ни времени, ни мер,
и вся пыльца далеких стратосфер
над нашими плечами колдовала.

И как потом все исчезало вмиг.
Ни света, ни садов, ни звезд, ни влаги,
и Бог уже не хлопотал о благе,
внезапно оставляя нас одних,
и все волшебники, и сводники, и маги
чуть усмехались во дворцах своих.

***

Жалей меня, веди меня, вели,
я так легко себя тебе вверяю,
веди меня по острию, по краю,
по шпалам ошалевшей колеи.
По твоему полночному молчанью,
по космосу касанья твоего.

Молочный ветер, сонных звезд качанье,
и тишина. И больше ничего.

***

Все теплится, все еще тянется, длится
над сонной печалью и радостью тихой плывет.
На донышке счастья невнятная горечь таится,
на донышке горечи легкая сладость живет.
Как рано еще, как протяжно, блаженно и странно
на город обрушился этот сиреневый свет,
орешник расцвел над волшебным мостом Варизано.
Такая весна, от которой спасения нет.
И все еще сбудется, что-то еще может статься,
и мост изогнулся над бездной беспечной дугой.
И кто может знать: перед тем, как навеки
расстаться,
придет невозможная радость из жизни другой...

***

Так что же это было?
                Как мне знать —
И коротко, и солоно, и сладко,
Закладка в книге,
                на столе тетрадка,
И не у кого лишний день занять.
Так что же это было?
                Свет во тьме?
Тропа крутая в зареве недолгом,
Единоборство вольной доли с долгом?
Или сиянье — от тебя — ко мне.

* * *

Там солнца золотое блюдце,
На дне земли.
Когда два облака сойдутся,
Сойдемся мы.
Когда два облака, два света,
Два заполошных сна
Пересекутся где-то, где-то,
Где жизнь ясна.
Где слышен теплый крик олений,
Где дом — река,
Где ляжет на мои колени
Твоя рука.
Пусть все осколки солнца льются,
Как звук зимы...
Когда два облака сойдутся,
Сойдемся мы.

***

Что кроется за прекращеньем звука —
Начало новой жизни
                    или мука,
Неведомая боль небытия,
И встретимся ли снова ты и я,
За ускользающим от нас зеркальным краем,
За облаком,
          за памятью,
                    за раем.
Конечность жизни —
                    благо иль беда?
Что означает слово «никогда»?

***

Волшебник мой, дружок, чудак
Невидимый, почти неслышный...
Все было... Так или не так,
Светился в полночи чердак,
И к лету поспевали вишни.
Прошло ли, будет ли еще,
Дай руку мне, подставь плечо,
Пусть снова зимний ветер свищет,
Но ты останься, светом стань,
Пока сиреневая рань
Колдует над моим жилищем.

***

Совсем нежданный и совсем непрошенный,
Как тайный ангел, между двух планет,
Такой далекий и такой хороший мой,
Держу в ладони что-то, чего нет.
Похоже на хрустальную горошину,
На льдинку, что не тает под лучом...
Нежданный мой, несуженый, хороший мой,
Как ветер, прилетевший ни на чем...

***

Танцуй до краешка земли,
До солнца алого, до тьмы,
До света над рекой
И до опасной той черты,
Где снова вместе я и ты
Над горем и тоской.
Танцуй и в счастье, и в беде,
Пусть будет виден звук везде,
Танцуй, и я с тобой.
Танцуй до слез, что жгут сердца,
Танцуй до самого конца
И стих наш говори...
На этой ли земле, на той,
До музыки, что за чертой,
До сладости внутри.

***

Когда, отбившийся от рук,
Пристанет голубь к новой стае,
Мне добрым талисманом станет
Тот давний голубиный звук,
Та гулевая воркотня,
Гортанный слог любви и неги —
Два белых голубя при снеге,
При свете голубого дня.
Но вот один, взмывая в ночь
И растворяясь в звездном свете,
Оставит звук, такой точь-в-точь,
Который знают только дети,
На смех похожий и на плач,
На птичий говорок невнятный,
Не обещанье и не клятва,
А шепот, лепет, белый плащ...

***

Я забуду тебя, я забуду,
Я кружение лун прекращу
И озноб свой, и жар, и простуду —
Все, что было,— легко отпущу.
Растворение солнечной тени
И горение злого огня
Я забуду.
Печаль и смятенье
Наконец-то оставят меня.
И в пространстве, очерченном мелом,
Две свечи над любовью одной...

Только, Господи, что же мне делать
С долгожданной моей тишиной?

***

Все так солоно и колко —
Время соткано судьбой,
Загляни хоть ненадолго
В нашу комнату с тобой,
В нашу тихую, пустую —
Без тебя она пуста...
Я колдую, я тоскую
Над отчаяньем листа.
На минуту, на одну лишь,
Только глянуть и обнять...
Как ты там один зимуешь —
Никогда мне не узнать.

***

По другую сторону часов
время запредельно и лениво,
отдыхает вечное огниво,
замкнут мир на солнечный засов.

По другую сторону любви
мы с тобой в зеркальном отраженье.
Подожди — скажу я — позови
сквозь века, сквозь век моих смеженье.

Боже мой, пусть будет жизнь светла,
Боже мой, пусть повторится снова —
холодом скрепленная основа
по другую сторону тепла.

***

На серебряной лодочке нашей,
Ветер южный — нам с ним по пути —
Уплываем все дальше и дальше,
Помоги нам, луна, посвети.
Снова вместе — судьбе неподвластны,
Лишь бы лунная речка текла.
И неважно совсем, и не ясно —
Ты ли жив, или я умерла.

***

Вздыхает олениха
В моем забытом сне.
Ты говоришь так тихо,
Что слышно только мне.

Над нашей долей снежной
Звучат колокола.
Меж болью и надеждой
Дорога пролегла.

***

Не плачь, говоришь,
нашей ноте доверься,
Мой голос навеки с твоим будет слит…
Но сердце мое, невесомое сердце
Вот-вот оборвется и вслед улетит.

***

А после… после жизнь начнется снова,
Совсем другая — легкая, как дым,
Как тень крыла и отзвук сна земного,
Дарованная только нам двоим.

Смотри же в эти дали, не печалясь,
Там вечность расставляет невода,
Все для того, чтоб мы не разлучались
При жизни, после жизни — никогда.

***

Бывало, тихо, не спеша,
Едва дыша, едва касаясь,
Летела медленно душа
Встречать другую, и, спасаясь
От одиночества и зла,
Бывало, медленно текла
Беседа двух, и по старинке —
Рука в руке, и тают льдинки,
Плоть ни при чем, и ясен дух...
О, это единенье двух!
И теплота — посерединке...

***

Люби меня так, чтобы звезды кружились,
чтоб таял песок и смеялись дожди,
чтоб дни не кончались и полночи длились,
люби меня долго, и помни, и жди.
Люби меня так, словно нету другого
ни дома, ни света, ни мира, ни зла,
люби просто так — за улыбку, за слово,
как будто совсем опустела земля,
и нас только двое — последние в мире —
и хрупким осколком повисла луна...
Люби меня долго, люби меня, милый,
как будто и нету других — я одна.
Чтоб небо снижалось,
                                        чтоб в горле дрожало,
чтоб солнце всходило, нещадно слепя.
Люби меня так, как вовек не бывало,
и, может быть, так, как люблю я тебя.

***

Всех облаков ты легче, звезд теплей,
Пчелиный дом наш травами украсим,
Зажгу свечу, а ты вина налей...
Не это ли в миру зовется счастьем.
Глядит в окно скиталица-звезда,
И пахнет резедой заблудший ветер,
Он все летит куда-то в никуда,
Он тоже хочет быть один на свете.
Но нам пока еще не выпал срок,
Теплеет, тает, светится, двоится —
И падает звезда на наш порог,
И чистая вода в кувшине серебрится...

***

Спи, любовь моя.
                    Горит очаг,
Дом печален, но тепло надежно.
В жизни вечно что-нибудь не так —
Слишком поздно или слишком сложно.

Спи, мой милый, эта тишина
Нам взаймы досталась, эта нега,
Эта жизнь — для нас двоих — одна,
Тяжелей дождя и легче снега.

Спи, мой друг. Я знаю эти сны.
В них есть все, что с нами приключится,
Коротко ли, долго до весны,
Солоно ли, сладко будет длиться.

***

Что успею, то успею...
Ветер дует с гор.
Эвридика по Орфею
Плачет до сих пор.
Не сойдется, не случится,
Все опять, как встарь —
Стены, влажные темницы
Да слепой фонарь.
Я тебя в себе хранила
Горько, горячо.
Не оглядывайся, милый,
Потерпи еще.
До несбывшегося лета,
До глухой зимы.
И тогда нас кто-то где-то
Выведет из тьмы.

***

Ах, было — не было…
Гостил
Сверчок за старенькой оградой,
Звучал смычок, несло прохладой.
Но кончилось.
И след простыл.
И музыки секретный пыл,
И свет ночной, и мы в обнимку.
Я скрипку слышала, волынку,
Но кончилось.
И след простыл.
И жалобно скрипит настил
Под сиротливыми шагами.
Как пело, двигалось кругами…
Но кончилось.
И след простыл.

***

Нет опаснее жара грудного,
Нет вернее сердечной тщеты.
Пусть бы ангелы снова и снова
Опускались ко мне с высоты.
Нет печальней, темней и туманней
Этой тяги к теплу — нет сильней.
И свобода моя от желаний
Отступает легко перед ней.

***

А тоска такая, что невмочь,
Ночь сомкнулась над уставшим сердцем.
Это смерть тебя уводит прочь,
Замыкает жизнь глухую дверцу.
Ну а я теперь тебя ищу
По своим маршрутам сиротливым,
С ветром спорю, жалуюсь оливам,
То молчу смиренно, то ропщу.
И ничем печали не унять,
Я зову тебя сквозь все просторы,
Чтобы длились наши разговоры,
Чтобы я могла тебя обнять...

***

Я стала легкой, словно лист,
Вслед за тобой взлететь пытаясь.
Постой, прошу, остановись,
Я жду тебя, я не прощаюсь.
Я стала легкой, словно тень,
Которая в окне белеет,
Как воздух над гранитом стен —
Легка.
Лишь сердце тяжелеет.

***

Я слышу звуки — твой ли голос дальний,
Разбилась ваза — ветер из окна.
И шорохи — все глуше, все печальней,
Другие звуки — я теперь одна.
И то, что было ясно нам двоим,
Растаяло, исчезло, не вернется,
И не тебе теперь сияет солнце,
И полон дом отсутствием твоим.

***

Ласточка кружится над карнизом,
Можно прикоснуться к облакам.
Дальний космос мне теперь так близок,
Ты меня однажды встретишь там.
И маршрут мой мне уже не труден —
Пусть огонь, пусть ветер, пусть вода…
И прощанья никогда не будет —
Будет только встреча — навсегда.

***

Начали листья к зиме осыпаться,
Я не хочу по утрам просыпаться —
Холоден дом без тебя.
Мир потемнел, и пустынна дорога…
Только дежурят дожди у порога,
Небо твое серебря.

***

Мне снова возвращаться к темным окнам
И к молчаливым стенам и к тоске…
А ты теперь на облаке высоком
В недостижимом, дальнем далеке.
И наступает золотая полночь,
Где звезды нас с тобой соединят.
Мы не расстались, мы друг другу в помочь,
Как в темной чаще двое оленят.

***

Привет от тебя —
шевеление губ дорогих,
Ты меня не забыл, это ветер затих.
Просто ласточка к дому забыла маршрут...
Ты меня не забыл —
это сплетники врут.
Жив тот жар одичалый в тебе и во мне.
Я легко нахожу твои губы во тьме.
Все осталось, запомнилось запахом роз,
И я слышу то слово, что ты произнес.

***

Но так любить, как не любил никто,
И так жалеть, как только ангел может.
Волнение, веление, о Боже,
Когда и в полной темноте светло.
И не касаться — издали смотреть,
Бросаться в глубину волны высокой,
И в миг один — и жить, и умереть,
Стать бабочкой над жалящей осокой.

***

Но вдруг опять сомкнется круг,
Волшебной линией замкнется.
Случилось что-то...
Капля солнца
Слетела на весенний луг.
И осветила тополей
вновь закружившиеся кроны,
И мир, любовью озаренный,
Твоей любовью, — стал теплей.

***

Как выглядит страна теней,
В которой ты сейчас.
А я тоскую все сильней,
Что разлучили нас,
Что ты печешься обо мне,
Не в силах мне помочь,
Что я ищу тебя во сне,
Когда приходит ночь.
И жду всем правдам вопреки,
И кажется, что вдруг
Два берега одной реки
Соединятся в круг.

Скрипач из гетто

КОРНИ

Искала корни в дедовской земле,
Там, где трава звенит легко и вольно.
Я шла по ней, и было очень больно,
Как будто я шагала по золе.

Кривые переулочки квартала,
Где было гетто. И средь бела дня
Там в яме для расстрела погибала
Вся мамина и папина родня.

По улочкам, летящим вверх и вниз,
В том городке как долго я ходила!
И вот уж звезды первые зажглись...
Искала корни, а нашла могилы.

СКРИПАЧ ИЗ ГЕТТО

Скрипки хрупкий позвоночник
Сломан был однажды ночью.
Маленький скрипач из гетто
Не успел узнать об этом.
Был он в мире или не был,
Облаком растаял в небе.
Чем же стал он?
Звездной пылью,
Песенкой, молитвой, былью?
И в часы, когда светает,
Месяц тает в вышине,
Слышу я:
скрипач играет
На оборванной струне.

***

Ни Гете огненные строфы,
Ни Шумана щемящий звук
Не отвратили Катастрофы,
Не прекратили слез и мук.

И было столько смертной боли —
Бросали в ров детей живых
Солдаты.
                Те, что раньше в школе
Учили шиллеровский стих.

***

Судьбу не переменишь — повторишь,
в какие бы прогулки ни пускался.
Вечерний Рим и утренний Париж,
туман над Сеной к Тибру опускался.
На этих реках — при ночной звезде —
по черным водам, к белому парому...
Где б ни жила — не выжила. Везде
я подлежала смерти и погрому.

***

Михаилу Кушнирскому, солдату,
не вернувшемуся с войны

Испания,
холмы твои, сады,
воспетые поэзией Галеви...
Земле, и королю, и королеве
служили мы до черной той беды...
Испания, горьки твои плоды!
Германия,
добры твои леса,
волшебные, как музыка ночная...
Мы верили в тебя и в чудеса,
твоих поэтов знали голоса,
своей судьбы трагической не зная.
О, Украина,
свет твоих озер,
твоих лугов, и слов славянских
милость.
Как верилось, как пелось,
как любилось!
Ну а потом погром, резня, позор...
Прощай и ты, чтоб все не повторилось.
Как мы любили силу стран чужих!
Как верно им служили. Воевали.
На языках заемных воспевали.
А нас потом соседи убивали,
Закапывали в ров детей живых.
Израиль мой, земля твоя суха,
но к нам твоя любовь неизмерима.
И наша жизнь навек тобой хранима!
А нас опять волнует призрак Рима,
чужой надел и рабская соха...

ГОРОДОК С ПОЛОТЕН ШАГАЛА

Этот городок с полотен Шагала,
весь —
              с его скрипачами
и летающими красавицами,
с женихами и невестами,
с его раввинами и ремесленниками,
с детьми и стариками —
весь этот городок попал в газовую камеру
и вышел оттуда
                        колечками дыма…
И скрипки больше не играют,
и некому читать свитки Торы,
и влюбленные никогда
                                не вернутся на землю.

***

Я здесь была — той девочкой босой,
На смуглых скулах солнечные блики,
И волосы не стянуты косой…
Отсюда путь — трагичный и великий.
Я шла со всеми — как слепят пески,
И тянется полоска золотая.
И я еще не ведаю тоски
И ужасов грядущих не считаю.
Как жарок воздух, как горят следы,
И как близка — рукой подать — свобода...
И сколько мне осталось до беды,
И что решит властитель небосвода?
Я узкую ладошку протяну
Куда-то ввысь, где ветер вольно дышит,
И, может быть, наш Бог меня услышит
И всех спасет, а не меня одну.

ПОЕЗД В ОСВЕНЦИМ

Я не была в том поезде *тогда,*
Сквозь черные решетки не смотрела,
И желтая печальная звезда
Не над моей душой *тогда* горела.
Я слышу, как молчат колокола,
Я вижу эти лица дорогие…
Я не была там. Я там не была.
Дорогой смертной шли *тогда* другие…

АННА ФРАНК

В этом городе, таком знакомом,
дверь замкни и окна затвори.
Гибелью грозят фонарь над домом
и свеча запретная внутри.

Беззащитней, чем скворец в скворешне,
ангелу шептала: «Пожалей...»
Что ей снилось в этой тьме кромешной?
Черный ветер дул из всех щелей.

В темноте, над свечкой незажженной,
прячется, не ведая вины,
мой двойник, ничем не защищенный,
девочка последней тишины.

***

Все видело и не ослепло,
и небом осталось земным.
Откуда мы родом? Из пепла,
из пекла, где поезд и дым.
Оттуда, где все еще плачет
ребенок — беззвучно, без слез,
где холодом черным маячит
немое спокойствие звезд.
Забылось. Закрашены знаки.
Но пахарь идет по золе
и видит — кровавые маки
алеют на черной земле.

ПОГОНЯ

Мне снится иногда погоня, —
Не убежать и не спастись,
Собаки, сапоги, погоны
Мою перечеркнули жизнь.
И — словно некуда мне деться,
И в чем-то все меня винят,
И строят для меня Освенцим,
И гетто строят для меня.
Жгут на кострах средневековых...
И в крематории потом...
Огромный, пьяный и багровый
В меня впивается погром.
Уже давно — тысячелетья —
Я, мертвой, падаю в траву,
Но я живу на белом свете,
Случайно, может,
но живу!

***

Памяти Пауля Целана

Было больно покидать планету,
Ива по-над водами росла...
Не утешит мертвого поэта
Наша запоздалая слеза.

Стрелок нет у времени.
И числа
Ничего не могут объяснить.
Как прозрачны воды, небо чисто,
И нельзя живое хоронить.

***

Я закрыла дверь на страх,
Я укрылась пухом горя...
Птицы, пахнущие морем,
Плачут у меня в руках.
Завтра выпадет зима
Мне в лото...
                    И лед височный,
Ужас мой — птенец полночный,
Я спою тебе сама.
И когда ты вдруг уснешь,
Может быть, и я улягусь,
Мне и эта жизнь не в тягость —
Нитью птичьей им на радость
Я пройду сквозь зимний дождь.

***

Когда горела лебеда
Над плачущей землей,
Шли в поднебесье поезда —
Наполнены золой.
И крик, летящий к небесам...

Разносит суховей
Золу святую наших мам
И наших сыновей.

И вся земля эта рыжая…

***

Все тянется вверх, и становится шире
счастливое золото раннего дня,
и все в этот час проясняется в мире,
от боли и страха спасая меня.

И вдруг поднимается в небо, высоко,
и все заполняет — вблизи и вдали
сиянье с востока, с востока, с востока,
над воздухом сонным, над сутью земли.

ИЕРУСАЛИМ

У этого воздуха ткань совершенно другая,
и свет невозможный, и городом правит печаль,
и осень уходит, в своем же огне догорая,
и Божье присутствие всюду, дыханье Его и печать.

Над городом нашим звезда замирает высоко,
над пламенем листьев ночной проливается дождь,
у осени этой другая совсем подоплека,
и, кажется, все разгадаешь, и все, что искала,
найдешь.
И белые камни, и солнца горячее око,
и горло схватило, хоть что тут такого,
и все ж...

***

В Израиле жить —
над судьбой ворожить,
Над страхом смеясь
и склоняясь над бездной.
В Израиле жить —
никуда не спешить,
Здесь дата рождения —
дата приезда.
В Израиле жить, а не просто бывать,
Научишься сразу и вдруг колдовать.
Здесь каждый умеет и каждый творит,
И каждый здесь с Богом на ты говорит.

ХАМСИН

Хамсин — горячий ветер мой,
С тобой смотреть в любую бездну,
Пусть в мире все тепло исчезло,
Но ты приходишь, ты — со мной.
Пусть время — глуше, воздух — суше,
С тобой все страхи замолю,
Ты вновь отогреваешь душу
Осиротевшую мою.

НА УЛИЦЕ БЕН-ИЕГУДА

Ни жара не бойся, ни студа,
ни ветра, слепящего нас.
На улице Бен-Иегуда
таинственный ангел — откуда? —
чего только нам ни припас.
Колдуя над корочкой хлебной,
вздыхая над жизнью земной,
зажег он фонарик волшебный,
раскрыл он словарик целебный,
с тобой говоря и со мной.
И мне среди этого чуда,
которого не отнять,
на улице Бен-Иегуда,
средь шепота, гула и гуда,
счастливый конец сочинять!

***

Сердце мое на Востоке,
И на Востоке я.
Здесь кружится ветер высокий
Над нежной зимою звеня.
Здесь празднует долгое лето
Конец любовей и снов...
Я — на земле, согретой
Верой своих отцов.
Я живу на Востоке,
И сердце мое — здесь,
И куст расцвел синеокий —
Скалам в пустыне весть,
И серебро колючек
Легко вплетается в песнь.
И вся земля эта рыжая,
Вся эта земля — моя!
Сердце мое на Востоке,
И песни мои, и я.

***

На белых облаках воздушных,
В потоке медленного дня —
От новостей, от комнат душных
В простор небесного огня...
Над городом моим плыву
(Есть море в Иерусалиме!),
Чтобы с печалями моими
Начать счастливую главу.

МЕЛЬНИЦА МОНТЕФИОРЕ

Себе на радость и на горе
Уплыло облако.
За ним
И мельница Монтефиоре
Плывет над городом сквозным.
Спешат летучие ступени,
И мельница склонилась к ним,
В ней прошлого глухие тени,
Твой ветер, Иерусалим.
Как победительница в споре,
Как ласточка других высот,
Так мельница Монтефиоре
Легко над городом плывет.

***

Три цвета осени моей —
зеленый луч сосны счастливой,
свет серебристый над оливой
и голубая сеть дождей.

И есть ли музыка верней,
и есть ли в мире звуки тише,
чем шелест листьев, вздох корней
и шорох крыл над нашей крышей.

ЧИТАЯ ПСАЛМЫ ДАВИДА

Оставлю страхи в стороне
и вновь прочту псалом.
Певец —
он думал обо мне,
он защищал мой дом.

Вот буковок волшебный строй,
целебный сговор слов...
Кем я была ему?
Сестрой?
Лозой его садов?

Теперь сомкнется вечный круг,
и в нем ладонь моя,
и Божья длань, и царский звук,
и тайна бытия.

***

Слава Богу, дожди зарядили,
Нескончаем небесный поток.
Город мой в серебро нарядили,
И притих говорливый Восток.
Дождь плывет в каравеллах нескорых,
Он прекрасен без всяких прикрас…
Слава Богу, в небесных просторах
Кто-то, может быть, помнит про нас.

***

В пожаре истории мрачной,
Где прошлое зло не ушло,
Земля моя стала прозрачной
И легкой, как птичье крыло.
Земля моя — птица ночная —
Вспорхнет и исчезнет во мгле…
Над белым пространством Синая
К рассыпанной в небе золе.

***

Идут дожди и наполняют мир,
Смывая кровь детей с печальных улиц,
И все деревья в трауре согнулись,
И плачет город, одинок и сир.
И нет конца горчайшим этим дням,
И нет причины ненависти вечной.
Что виноватый ангел скажет нам,
Вернувшись из страны своей беспечной?

***

Это осень без осени.
                                        Сны
Остаются в другом измеренье.
Подожди до ближайшей весны,
До сиянья ее, озаренья.

Это город мой — небо небес,
Страх уйдет и не явится снова.
Подожди до ближайших чудес,
До свершенья, до вещего слова.

МОЙ ГОРОД

Загадачен, неуловим
Плывущий к небу — от земли —
Мой город Иерусалим,
Как вместе нам легко, двоим.
И тает светлый дым вдали
Над кипарисовым огнем,
Мой город — свет моей земли,
Пою его, молюсь о нем.

СНЕГ В ИЕРУСАЛИМЕ

Снег шел и таял на лету,
И шел опять, и снова таял.
И на холмах, и на мосту
Блестела кромка золотая.

Весь Иерусалим в снегу,
Но лишь на миг, как день вчерашний,
И вот опять темнели башни,
И холод покидал строку.

Случайный снежный ком-птенец
Развеял это наважденье,
И наше местонахожденье
Реальным стало, наконец!

***

Шошане Левит

Какой январь — любви предтеча,
Холмов янтарных торжество,
Зима моей российской речи,
Весна иврита моего.
Двойной словарь судьбы единой,
Двух азбук неделимый круг —
То лепет слышу лебединый,
То гордый и гортанный звук.
Своей дороге не переча
И злого не боясь огня,
Живу.
И вечно два наречья —
Два ангела хранят меня.

***

Саре Горенштейн

О, женщин имена — то Анна, то Марина!
Их солнечная суть, морозная краса,
Дыхание земли и привкус розмарина,
И облачный ледок, плывущий в небеса.
Прислушайся к векам — звучит Сафо, София,
В них тяжесть тишины и влажность росных нив,
И судьбы всей земли, и все лукавство змия,
О, женщин имена — слиянье и разрыв.
История плывет — круги ее жестоки,
Но музыка слышна — то Леа, то Рахель,
И в этих именах любви моей истоки,
И Божий глас звучит над горечью земель.

ЗЕЛЕНАЯ ЗИМА

Керен

У нас зеленая зима,
и солнце катится с холма,
как шарик надувной.

И дождь пронизан серебром,
и сосны окружают дом
и кружат надо мной.

И этот кедр у нас в саду,
и радуга на поводу
у голубого дня.

У нас зеленая зима,
на солнце греется земля,
как кошка у огня.

ИВРИТ

И что мне в этих буковках летящих,
Я и не знала их в уральских чащах,
Не видела, не слышала вовек,
Что мне их странный, их обратный бег.
Спешу за ними кверху, по спирали,
Оставив долгий холод на Урале,
Я всматриваюсь в них, я их учу.
Вот-вот коснусь рукой и приручу.
Они приходят, радуясь, кружа,
И тянется и длится ворожба.

***

Я никуда не тороплюсь,
Учусь у сумерек неспешных,
У голубей ленивых здешних
И радость пестовать, и грусть.
Я не спешу.
Рукой касаюсь
Моих деревьев и камней,
По белой лесенке спускаюсь
К судьбе загадочной моей.
Пусть время мчится без оглядки,
Я медленным пером пишу...
Есть мой кирпичик в этой кладке,
Здесь — дом.
Я больше не спешу.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Посвящается Илар

Спи, моя девочка, спи же,
Завтра проснешься с зарей.
Сон твой чудесный все ближе,
Звезды мечтают с тобой.
Спи, нас луна охраняет,
Всех в нашем мире детей.
Белая роза роняет
Лист — для улыбки твоей.
Спи, все вокруг замирает,
Солнце закрыло глаза,
Олива в саду собирает
Сказки — тебе рассказать.

***

Лин

Ах, только б не спугнуть,
сберечь сквозь все ненастья.
Ты — солнечная суть,
ты — подлинное счастье.
Отдам и два крыла,
и сердце, что меж ними,
лишь только б ты жила,
твое звенело имя.
Птенец моих птенцов
и песня песен дивных,
вся жизнь и вся любовь
в твоих глазах невинных.

ИЕРУСАЛИМСКОЕ УТРО

И снова я в начале дня,
В начале всех чудес грядущих,
В дому своем, как в райских кущах,
Где столько света и огня.

И ночь, которая придет,
Так далека еще, как будто
На всем на белом свете утро
Свою льняную ткань прядет.

Поговорим по-русски

***

А война пришлась на детство,
на потухшие дворы —
не укрыться, не согреться,
не уйти от той поры.
А война пришлась на голод,
на побег, на птичий лет,
на дрожащий зимний провод,
на хрустящий синий лед.
Похоронки в небе кружат,
детский плач и вдовий час.
А война пришлась на ужас
и по всем сердцам прошлась.

***

Евгению Витковскому

Только звук, равный мысли и слову,
только слога волшебная нить.
Только это возьму за основу —
дух сберечь и тепло сохранить.

Есть в молчанье счастливая слабость,
но приму я со словом родство,
всю гортанность, и горечь, и сладость,
всю великую силу его.

***

В горах такие холода,
такая стылая вода,
такой туман стоит высокий,
и колокольчик поездной
звенит и летом, и весной,
и сдвинуты назад все сроки.
В горах жизнь медленней течет.
Все голубое — нечет, чет,
рукой подать до звезд, до рая.
Молочный цвет, цветочный мед…
Идти куда судьба ведет,
не думая, не выбирая.
Туда, где облако скользит,
где ветер ледяной сквозит,
где одиночество не тяжко,
и воздух разрежен и сух,
и где захватывает дух,
и солнце ближе, чем ромашка.

ВОСПОМИНАНИЕ

Окна в снегу утопали,
И леденело крыльцо…
Детские беды-печали,
Жизни простое лицо,
Хлебный подвальчик морозный,
Снег новогодний хрустит,
Знать бы, что город тот слезный
Вдруг обо мне загрустит.
Детство мое, Зазеркалье,
Холода злого глоток.
Как там снежинки сверкали,
Как там искрился каток,
Башенка к небу взлетала,
Снег нескончаемый плыл…
Не было, было, не стало —
Огненный ветер спалил.

***

Когда-то давно это было, давно…
Крутили на улицах вальс «Домино»,
И лампы почти не светили,
И ночью звонок надрывался дверной,
И днем керосинки коптили.
От флагов все красным казалось вокруг,
И друг был опасным, и дантовский круг
Смыкался петлею над каждой судьбой.
И вальс «Домино» пел шарманщик слепой…

***

В маминых руках родных согреться,
Словом перемолвиться с отцом…
Были травы, пахнущие детством,
Были звуки, помнящие дом.
Были зимы — снегом укрывали
Все печали юности моей,
И кружились в белом карнавале
Те снежинки — не было милей.
Было страшно — только мы смеялись,
Плыл над нами воздух неземной…
Было время — плача и печалясь, —
Надо судьбой склонялось, надо мной.

***

Я знаю, как плачет звезда.
А может быть, это не звезды,
а сердце мое, что всегда
тоскует и горько, и слезно.
Я знаю, как ветер скулит
по темным безлюдным кварталам.
А может быть, это болит
душа моя в теле усталом?
Прошло, от души отлегло,
живу, с провиденьем не споря.
Но слышу я, как тяжело
вздыхает огромное море.

***

Сердце сжалось от страха за маленький дом,
Там, где мама сидит у огня,
Там, где стекла двойные затянуты льдом,
И куда не пускают меня.
Как давно нет письма.
Обернуться дождем,
Заглянуть в ледяное окно.
Мне бы только увидеть родителей, дом,
Я не видела их так давно.
Там на круглом столе, на клеенке цветной
Все, как было, — я все узнаю...

Если б знала я раньше, какою ценой
Заплачу за свободу свою.

ЗИМНИЕ СНЫ

Моему брату Валерию

Там груда яблок на лотке,
и облако с небес в руке,
и зимней птицы грудка золотая.
Садовая скамья в снегу...
Я варежкой стряхну пургу
и хлеба накрошу туда, где птичья стая.

В окне, я знаю, два лица
печальных — мамы и отца,
быть может, улыбнутся, вслух гадая:
«Кто тут в рожок замерзший дул,
и со скамейки снег стряхнул,
и хлеба накрошил туда, где птичья стая?»

***

Памяти Осипа Мандельштама

Затянувшийся, бесконечный
Этот голод. Сверчок запечный
И заплечный мешок на двоих.
И поэт, как большой вороненок,
От безумия жизни тонок
И от близости смерти тих.
И на этой голодной глади
В вороненом страшном году
Все воронежские тетради
Он писал на белейшем льду.
И пока высыхал позвоночник,
И легко возникал сюжет,
Надвигался воронежской ночи
Неподвижный, последний свет.
И мытарством своим отравлен,
И покинут своей судьбой,
Только музою не оставлен,
Только белочкой голубой.

***

И. Быховскому

А где не бывала — уже не бывать,
с высоких снегов не кататься,
и листьев не трогать, и ягод не рвать,
и трав голубых не касаться.

Кого не встречала — не встречу уже.
Коротким лучом отгорело
последнее лето. В его мираже
последняя птица пропела.

Чего не нашла — уж того не найду
в лесах, за семью ли замками,
где птицы не спят, и в сосновом ряду
лисенок смеется над нами.

И то, что хотела — уже ни к чему.
На сонных раструбах заката
последние блики, и где-то в дому
плутает последняя дата.

Но то, что любила — пусть будет со мной.
Любови дыханье живое
со мной до конца — за последней стеной,
со мной — под последней травою.

***

Зое Юрьевой

Поговорим по-русски.
Сколько зим
уже прошло без нежного общенья,
без этих дней морозных, угощенья
простейшего — всего-то чай и дым.
Поговорим по-русски.
Сколько дел
несделанных.
Все суета, досада,
но посидим за чаем — вот отрада.
Поговорим о тех, кто преуспел.
Поговорим по-русски.
Что мне в нем,
таком родном, таком невнятно близком
наречье, удивительном и чистом...
Поговорим и тихо чай допьем.
Поговорим — о чем? — где свет, где тьма,
и вдруг вздохнем:
«Ах, что за жизнь — загадка!»
И разойдемся.
Чай остынет сладко,
по скатерти пройдет простая складка,
и за окном останется зима.

***

Дмитрию Шеварову

Когда растает яблоневый цвет
у Вас в саду, в далеком Подмосковье,
орешник мой укроет Вас от бед,
олива защитит своей любовью.

И Вы — хранитель слова и огня —
свет Ваших окон виден мне отсюда,
и в том далеком холоде — о, чудо! —
Вы снова согреваете меня.

И все сбылось: свет Ваших белых зим,
и в Вашем очаге горящий пламень,
и белый иерусалимский камень,
и дымка золотистая над ним.

* * *

Откуда приходит снежок ледяной?
И все колобродит движок за стеной,
и светится влага ночная.
Откуда?
Оттуда, где не были мы —
из хлада и студа, из белой зимы,
а может, из лета, не знаю.
Откуда берется такое добро —
блаженное солнце, тепло, серебро,
и утренних зябликов стая.
Откуда?
Оттуда, где плачет один
завернутый в плащик смешной господин,
листы нашей жизни читая.

***

Валентине Синкевич

Мерцанье снега в фонаре,
Мерцанье фонаря в тумане...
Мне вспоминать о той поре,
Как будто возвращаться к маме.

Как будто снова по трубе,
По желобку, по водостоку
Слетит сосулька.
И к уроку
Я не готова.
И к судьбе...

ГЕОРГИЮ ИВАНОВУ

Слова простейшие, повторы —
Вода и твердь —
Такая ясность, за которой
Лишь жизнь и смерть.
Такая горькая прозрачность,
Что различишь
И Божий суд, и века мрачность,
И боль, и тишь.

***

Л. Заксу

Останется навеки ремесло —
осенняя полоска золотая.
И кто-то, книгу старую листая,
поймет, что слово верное спасло.
Звенит струна, над вымыслом летая,
вовек ничто в той лире не старо —
ни Лермонтова чистое перо,
ни пушкинская строфика литая.

***

Аркадию Застырцу

Живой хрусталик сентября,
скользящий вдоль дорог мощеных,
и эхо слов невозвращенных —
от ангелов ли, от тебя?
И кто-то в дальней стороне
все записи судьбы стирает
и говорит, что не сгорает,
не тает и не умирает
тепло, отпущенное мне.

***

Валерию Суворову

И медленно, как строит муравей
свое жилье, я буду строить дружбу
с людьми других народов и кровей,
но Богу на земле несущих ту же службу.

И терпеливо, как трава к траве,
зерно к зерну, трудов не ускоряя,
я буду жить со всеми наравне —
потомок Евы, изгнанный из рая.

Четыре укрывающих крыла

***

Моим родителям

Еще наступит день, и выйдет час,
Я, может быть, еще увижу вас.
В саду вишневом всхлипнут соловьи,
Молочный привкус детства и любви

Ко мне вернется... Будет сладко спать,
И надо мной, как будто время вспять,
Опять в ночи до самого светла —
Четыре укрывающих крыла.

***

Ночное молчанье тревожит.
Сонно стучит состав.
Господи, милый Боже,
Маму мою не оставь.
Укрой ее ветром теплым,
От горестей заслони,
Молитву прочти ей шепотом
И не гаси огни.
Зябко-то как, туманно,
Век поднимает копье…
Боже, ты дал мне маму —
Не отнимай ее!

***

Маме

Уезжает мой легкий возок
Далеко от родного порога.
Собери мне любви в узелок
И немного тепла на дорогу.
Положи мне краюху добра
В лубяное лукошко надежды.
Мне туда, где гуляют ветра,
Где на привязи душу не держат.
И добавь сколько хочешь чудес
К незатейливой этой поклаже.
Самый темный расступится лес
И тропу световую покажет.

МАМЕ

Встанешь утром, на улицу выйдешь,
все снегами вокруг замело.
Взмах руки...
Только ты не увидишь,
сколько темных туманов легло!
Конь разлуки все скачет и скачет,
не окликнуть его, не догнать.
Ни души.
Только отзвуки плача.
Твоего? Моего? —
не понять.

***

Мне снова снилось — я домой летела,
дверь открывала в голубой пролет,
где теплотой пронизывало тело,
где ждут меня все ночи напролет,
где свет горит в медлительной конфорке,
и золотая трещина в стене,
где запах детства, дорогой и горький,
который больше не придет ко мне.
И что мне делать с этой переменой?
Куда спешит земное колесо?
И так далек квадратик во вселенной,
единственный, где мне прощали все.

МАМА

Ее лицо — прекрасней нет!
Прекрасней ничего не знала.
Оно напоминать мне стало
Забытый бабушкин портрет.

Уходит мама, за собой
Глухие двери притворяя.
И я неслышно повторяю:
«Остановите шар земной...»

Остановите шар земной...
Не надо ни огня, ни света —
Оставьте маму! Только это!
Оставьте навсегда со мной!

***

Поеду к маме.
В зимний край,
В тепло горячих рук.
Играй, гармоника, играй
Надрывный вальс разлук.

Поеду к маме.
В синих льдах
Забытой тишины
Растает, может быть, мой страх
Сосулькой в час весны.

Поеду к маме —
Боже мой…
Пространство, расступись! —
В давно ушедшее домой,
В потерянную высь.

***

Мама, худенькая мама…
Коромысло, два ведра —
Как несла ты их упрямо
До замерзшего двора,
До крылечка ледяного —
Тусклой лампочки слеза.
И ни жалобы, ни слова,
Каждый день сначала, снова —
Ледяная полоса.

***

Ну а потом остынет лето,
калитка зарастет плющом.
Не может быть, что только это,
должно же что-то быть еще.
Должно же что-то...
                                        Запрокинув
больное горло, спит птенец.
Край неба все еще малинов,
должно же...
Это не конец.
Я знаю, я рукой касаюсь,
знак различаю водяной.
Но снова исчезает надпись,
почти прочитанная мной.

***

Мне был подарен час
Для песен и прогулок,
Короткий, словно вальс
В саду, где воздух гулок.
Хотела все успеть —
Сто песен, сто соблазнов.
Хотела час воспеть
Деревьям сообразно.
Мелькание колец,
Круженье карусели...

Мой сын и мой отец
Так кротко вслед смотрели.

***

Не казни меня, Господи, смертью отца.
Никогда — ни потом, ни сейчас.
Эта боль без конца,
этот свет от лица,
от родных, угасающих глаз.
Посмотри — вот он ходит,
он легче пера,
он, того и гляди, улетит.
Ты пошли ему, Господи, силы с утра,
постарайся, покуда он спит.

***

Он легок, легче перышка,
и я ему пою.
Завертываю крылышко
в бессонницу свою.
Вымаливаю жалостно
еще хоть день, хоть час.
Что там лепечет ласточка,
над сном твоим кружась?
Не спи, отец, не засыпай.
Какая жизнь была!
Иди, тихонечко ступай,
умойся добела.
Еще не унимайся, нет,
гори, огонь, гори.
И просится наружу свет,
тот, что сиял внутри.

***

Я провожу тебя теперь
всей нежностью, уже ненужной.
Куда?
        Не знаю.
                        В эту дверь
не просочится свет наружный.
Так плотно, намертво закрыт
твой мир от нас.
                        И ты не слышишь
того, что нежность говорит.
И пусть свеча легко горит,
и дым невидимый все выше.

***

Не исчезнет — ни голос, ни имя,
хоть до самых костей оголи.
То, что было крылами моими,
скоро станет корнями земли.
Не исчезнет, как голос отцовский,
тот, который не слышен почти.
Вот и надпись на тающем воске,
и мне ангелы шепчут: «Прочти».

***

Сыну

О том, чего не может быть,
И Бога не прошу.
Но мне всю жизнь тебя любить,
Покуда я дышу.
О счастье — лишь об этом речь,
Не смолкнет звук в трубе.
И мне всю жизнь тебя беречь,
Молиться о тебе.

***

Пророчица, волшебница, судьбина,
Какие ветры шлешь, какой расклад...
Все забери, оставь мне только сына,
А на него не поднимай и взгляд.
Мой соловьенок защищен любовью,
Молитвами — не сглазить бы, прости...
Так солнышко качается в горсти.
Так в радости рождается присловье.

***

Памяти мамы

Без тебя растаяла планета,
Покачнулась без тебя земля.
Ты теперь не здесь. Но где же, где ты,
Мамочка любимая моя?
От любви перехватило горло,
Воздух сжат — не оставляй меня...
Как жила ты горестно и гордо,
Мама, мама храбрая моя.
Плачут птицы на ветвях застывших,
Плачет век, в колокола звеня,
Мама улетает — выше, выше,
Легкая и добрая моя.
Я тебе поклажу собираю
В две слезы.
                    И Господа моля,
Я с тобой живу и умираю,
Мамочка красивая моя.
Видишь ли ты свет над нашей крышей,
Помнишь, как мы шли, — метель мела...
Ты меня сквозь смертный вздох услышишь,
Мамочка бессмертная моя.

***

Моему отцу

Как я любила это лето!
Пар подымался от земли,
я шла навстречу дню и свету
вдоль серебристой колеи.
И пахло высохшей травою —
безумный запах бытия
кружил мне голову, и я
в жизнь погружалась с головою.
Все стало памятью судьбы:
и эти куцые ступеньки,
и покосившейся избы
тепло в далекой деревеньке,
и запах сена, знойный лес,
земля, блаженством залитая,
вся эта тяга золотая,
вся непридуманная смесь
тоски невнятной, счастья, рая —
ни после, ни потом, ни с краю,
а в этот миг.
Сейчас и здесь.

А жизнь и есть тепло и торжество…

* * *

Ни зла не помнить, ни обид,
ни даже радостей давнишних.
День словно молоком облит,
и влаги след на белых вишнях.
И снова, чем-то огорчась,
кто был мне близок — отдалится.
Есть только то, что нынче длится,
и только то, что есть сейчас.
Весь этот разомлевший день
с его туманной поволокой
и с белой тучей невысокой,
соскальзывающей в голубень.
И это все.
                    Ни до, ни после
не существует, и не в счет.
Как медленно шагает ослик,
как воздух медленно течет.

***

Простая сладость собственного крова,
Вдеванье нитки в легкую иглу.
Не приведи господь есть со стола чужого
И жить в чужом углу.
Гудит мой век,
и этот гул все жестче,
Четыре ветра надо мной сошлись...
Не приведи господь встречать чужие ночи
И жить чужую жизнь.
И воздух разрежен.
На красных крышах
То солнца свет, а то густая ночь.
Не приведи господь чужой беды не слышать,
Не дай-то бог, услышав, — не помочь.

***

Евгению Минину

Прекрасна суета сует,
Все наши хлопоты дневные,
И волшебство ночных бесед.
Их отражения двойные.
Я выбираю этот свет,
С его крадущейся повадкой,
С его негладкой жизнью краткой,
С его загадкой вековой…
Я выбираю мир живой.
Я выбираю белый свет
С его судьбой, его загадкой,
С его старинною закладкой
На букве той, которой нет…

***

Я люблю этот воздух летящий,
одиночества длящийся пир,
и движение дня, и слепящий,
обнимающий, утренний мир.
Я люблю это злое скольженье
в никуда. И внезапную дрожь,
с чудным замыслом Божьим сближенье,
дождь и ветер, и ветер, и дождь.

***

Николаю Мухину

А жизнь и есть тепло и торжество,
короткое паренье над веками.
Не надо добиваться ничего,
а просто жить, как дерево и камень.
И просто воздух медленный вбирать,
не умирать, покуда не приспело,
и не просить, и ничего не брать,
а только жить легко и неумело.

***

Я снова прорехи в судьбе залатаю,
Я снова летаю, летаю, летаю,
И снова каемка земли золотая,
Сияет над бездной моей.
И что мне до ада,
и что мне до рая —
Я лунные капли в подол собираю —
Нет этого света милей.

***

Виталию Воловичу

Я знаю этот лунный путь —
За грань и за обрыв,
Когда птенец какой-нибудь
Поет... И ритм сжимает грудь —
Так сладостен мотив.
Я знаю этот лунный дол —
Пространству нет конца...
И лунный свет упал на стол...
О чем он пел — смешной щегол,
Спасающий сердца.
Я знаю этот лунный след,
Он к тайне нас ведет,
И лунный знаю я секрет —
Все то, чего как будто нет, —
Все это к нам придет.

***

Время собирать и собираться,
Нет, не уходить, а оставаться,
Даже если ангелы скупы.
Слов не оставлять, не расставаться,
Нет, не остывать и не сдаваться,
Нет, не умирать, а растворяться
В драгоценном воздухе судьбы.

***

За позволение любить своих любимых,
за право ждать, и помнить, и дарить,
за тайный свет, живущий в темных зимах, —
как мне, Господь, тебя благодарить?

За эту власть не подводить итоги,
и никакого счета не вести,
и плыть себе в невидимом чертоге,
и все земные горести снести.

За краткий день, за бесконечность ночи,
за то, что есть в смиренье Божья суть,
за то, что о земном душа хлопочет,
но так, чтоб небеса не обмануть.

***

Да вот и вся она — росой мелькнула
и закатилась за вороний скат,
как не бывало, так, рукой махнула,
моя смешная жизнь —
восход — закат.
Так коротко, так невозможно мало,
ни счастья не оставила, ни слез.
Да вот и вся — по травам пробежала,
отряхивая дождь с густых волос.

***

Но кто-то небо радугой украсит,
легко передвигая к солнцу тень.
Какая вечность у меня в запасе —
подумать только, Боже, — целый день!

Не завершить того, что не успела,
но вечно и волшебно ремесло.
И все вольней душа, все легче тело,
все невесомей звездное весло.

***

Есть пчелиная медленность в лете,
в равномерном движенье планет.
Уж которое тысячелетье
длится жизнью навеянный свет.
А в июле он ярче и шире,
и мне кажется, Боже ты мой, —
что мое пребывание в мире
так же вечно, как воздух земной.

***

Пройдет печаль, и грусть перегорит,
Растают дни в тени тысячелетий.
Но жизнь мою никто не повторит,
Никто и никогда на целом свете.

И надо жить до самого конца
Всей силой духа и свободой зренья,
Чтобы сошлись —
единственность Творца
С единственностью
Божьего творенья.

КАРТИНА ИМПРЕССИОНИСТА

Зеленая девочка в красном дому,
Сирень голубая летит над забором,
И небо, и лето в туманном дыму,
И движется воздух в вагоне нескором.

Как сложится жизнь этой девочки?
Чем
Она обернется? Бедой ли, удачей?
Но это потом…
А пока что над всем
Струится невидимый воздух прозрачный.

***

Давно не припомню такого тепла!
И птица снижалась, и речка текла,
Ленивые травы на солнце цвели,
И пар поднимался от доброй земли.
Над сонной волною кружилось весло…
И правил волшебник свое ремесло.

***

Тот, кто жизни моей сотворил
невесомую ткань,
и узор световой, и расшитый
загадками полог,
был так щедр.
О, Создатель, как праздник мой долог,
как сияет в окошке моем
ежедневная рань!
И вплетается в гамму вселенной
летящая нить,
и течет этот шелковый, льющийся,
этот поток бесконечный,
свет и тень, жизни суть, звездный путь
согревающий, млечный…
Как за все это мне, научи,
как за все отплатить?

***

Я угадала дождь в проеме сосен…
С души снимая невозможный груз,
Опять придет ко мне подруга Осень
Делить со мной печаль мою и грусть.
Смывая слезы, пестуя, жалея,
В кругу олив притихших ждет меня,
Промыв дождем все окна и аллеи
И взяв тепла у летнего огня.
И долог день, и бесконечны воды
И хороводы листьев на ветру,
И сладок свет невиданной свободы,
И солнца знак секретный поутру.

***

Как рано темнеет и поздно светает,
И утренний ветер следы заметает,
И кутает горло в ночную прохладу,
И путает все — и ни складу, ни ладу.
Не знаю, о чем, не узнаю, откуда
Добро ли придет в этот мир или худо…
И месяц на небе — не Божья ли милость,
И с жизнью не сладить — ах, только бы длилась…

***

Как вод высокое теченье,
Как неба купол золотой —
Мое спасительное чтенье,
Моя свобода, воздух мой.

Поэт великий, друг, посредник,
Святой посол небесных сфер…
О, мой сердечный собеседник —
То Дант, то Пушкин, то Гомер.

И все молитвы — звук единый,
Все времена — единый миг.
Не плачь, мой город голубиный,
Всегда, и в этот век повинный —
Для нас открыта Книга Книг.

***

Я боялась опять оглянуться назад —
Белый снег горячее огня.
Там, где помнят деревья мой дом и мой сад,
Там, где все еще любят меня.
И чего ни коснешься — как током пронзит,
И куда ни посмотришь — беда.
И покажется вечным — случайный транзит,
И горит на губах лебеда.
И под темным покровом вчерашнего зла —
Открывается ясная синь.
И такое несметное бремя тепла
И добра — только руки раскинь.

***

Вразуми меня, Господи милый,
Чтобы жили и дух мой и стих,
Чтоб меня ничего не сломило
На дорогах от страха слепых.
Чтобы труд был закончен и сверстан,
Чтоб дышалось легко поутру,
Чтобы сердце не сделалось жестким,
Леденея на голом ветру.

***

День в августе.
Каким он был вальяжным,
Медлительным,
с корабликом бумажным,
Отправленным в рассеянье морей.
И яблоня добром делилась с каждым,
Что было раньше, стало вдруг неважным
В преддверии грядущих сентябрей...

***

Генриху Горчакову

Как за соломинку держусь
за певчую строку.
Я не про музыку — про грусть,
про птицу на току.
Про слов спасительный запас,
про рифмы колдовство…
Я не про музыку — про нас,
про горе и вдовство.
Про то, где силы зачерпнуть,
про сон, про Третий храм…
Я не про музыку — про суть,
неведомую нам.

***

Как сложится — так сладится,
как сможется — так сгладится
нескладица моя.
Беда ли, неурядица,
все как-нибудь уладится
в просторах бытия.
Как слюбится — так сбудется,
как вспыхнет — так остудится
и станет жаром вновь.
Как кликнет — так аукнется
разлучница и спутница,
сестра моя — любовь.

***

Солнце встает и заходит за мной —
Дождь, — говорит, — прошел,
Просто пройтись по дороге земной,
Господи, как хорошо!
Просто ступить на зеленый покров,
Птицу услышать вдруг
И различить сквозь дыханье ветров
Божьего слова звук.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Рина Левинзон
УСЛЫШАТЬ СОЛНЦЕ
Стихи

Редактор-составитель Н. Ю. Мухин
Корректор А. В. Гоштейн
Дизайн В. И. Реутов

Подписано в печать 30.10.2009. Формат 75 x 90 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10,46. Тираж 1000 экз. Заказ 1661.

Гуманитарный университет
620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 19.
Лицензия № 8966 от 18.06.2007

Отпечатано в ООО «Полиграфический комбинат “Зауралье”»
640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.

Рина Левинзон * **Услышать солнце**